

Владимир Сотников

Улыбка Эммы

роман

мастера
современной
русской
прозы

Мастера современной российской прозы

Владимир Сотников

Улыбка Эммы

«ЭКСМО»

2016

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Сотников В. М.

Улыбка Эммы / В. М. Сотников — «Эксмо», 2016 — (Мастера современной российской прозы)

ISBN 978-5-699-91008-3

С первым героем этого романа происходят события, не объясняемые привычной логикой. Он остается жив во время раскулачивания. Не гибнет в завале шахты. Пули не убивают его на войне. Он не тонет, наводя понтонные переправы через Днепр, Вислу, Одер. Невредимым проходит через абсолютное зло. И та же сила оберегает второго героя книги – его сына – уже в наше время. Судьба, любовь, совесть, неприятие лжи чувствуются ими одинаково. Эта книга – обо всем. Станным образом коснулась она всех проявлений человеческой жизни. Автор нашел для этого ясную форму новой художественности.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-91008-3

© Сотников В. М., 2016
© Эксмо, 2016

Содержание

Часть I	6
1	13
2	14
3	16
4	18
5	21
6	23
7	25
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Владимир Сотников

Улыбка Эммы

Бог видит не все.

Помню свою детскую жалость оттого, что заметил: умные умолкают первыми.

Во время взрослых разговоров я любил слушать отца, но он всегда мрачнел, словно утомляясь, и постепенно оставались звучать наверху лишь чужие слова. А я, маленький, переводящий снизу взгляд с одного человека на другого, оставался в недоумении, глядя на лицо молчащего. Ну что же ты, говори, словно просил я. Мне так нравится тебя слушать! А он почему-то отмалчивался, и мне казалось, что лицо его без всякого зеркала смотрится само в себя – взгляд становился не потухшим, а возвращенным, и обратный путь взгляду нравился больше.

Таким чаще всего в моей памяти появляется отец. Говори, хочется мне сказать, обернувшись не только во времени, но как бы и вдогонку. Говори!

Почему память бережнее всего хранит его усталое молчание?

И сейчас, словно в отместку не услышанному вовремя или просто потому, что близится время моего умолкания, я говорю за двоих.

Жизнь моя началась в отцовский день рождения. Во всяком случае, через девять месяцев, с небольшой поправкой на лунный календарь, после тридцать четвертого дня рождения отца родился я.

Особенного смысла я в этом не вижу, как не вижу и полного его отсутствия. Я убеждался на каждом шагу своей жизни в том, что достаточно было лишь о чем-то подумать, как мгновенно это подуманное становилось значительным хотя бы в смысле своего существования. Иногда даже назойливо значительным. Например, обыкновенную тряпичную ленточку, которая болталась за окном, когда я смотрел на нее, лежа в детской кроватке, я постепенно, из-за частого воспоминания, связал с целым миром. Истлевшая, бесцветная ленточка, которую оставалось в то время лишь дернуть вниз, и она рассыпалась бы в прах, всю мою жизнь всплывала перед моими глазами, как только я оказывался на краю пропасти. Ленточка, колыхнувшись от ветра, словно напоминала: зря я, что ли, болталась перед тобой в детстве? Зря? И я останавливался, не доходя до края. Ленточку становилось жалко.

Так есть ли смысл в том, что жизнь моя началась в день его рождения? Не знаю. Но, думая об этом, я поневоле или, наоборот, по своей воле стал считать себя неким двойным человеком. Я это он. И время, даты, совпадения не так важны. Теперь оказалось, что важно не сказанное вовремя. А должно быть сказано, чтобы наконец стать увиденным.

А может, потому он и умолкал – чувствуя, что я буду говорить за него? Вот я и говорю.

Часть I

Темно и тихо, в доме лишь тикают часы. Это идет время. Секунда за секундой. Может быть, где-то среди звезд так же отсчитываются и годы? И мои тридцать четыре года? Здесь это целая жизнь, а там – мгновение. Интересно, с каким звуком оно пронеслось? Как прозвучали там жизни моих ровесников, с которыми мы в сорок втором ушли из деревни и уже через несколько дней бежали гурьбой на немецкие пулеметы с деревянными винтовками в руках? Где они? Я думаю о них каждую ночь под утро и представляю темное небо с россыпью звезд. Они – там? Не знаю. Но если спрашиваю, если думаю об этом, то это может быть.

Мои воспоминания – это время. И слова, которые при этом проворачиваются во мне, – тоже время. Оно не только проходит мгновениями, минутами, часами, годами, но и собирается словами, как звезды из звездной пыли. Кому я говорю, представляя темное небо над домом?

И стало легче на душе от этой мысли. Тяжесть ночи растворилась, исчез мутный и мучительный сон, я улыбнулся своему умению спастись от тяжелых мыслей. Надо подумать, как думал когда-то в детстве, стараясь все объяснить, и тогда все становится не так мучительно непонятно.

Когда-то это впервые пришло ко мне неожиданным открытием, будто я шел-шел, оступился, встрепенулся и очнулся. Во время беспросветных раздумий о том, что же я такое, что такое жизнь и кто я, вдруг представил ясно и по-детски свой дом и себя в тесноте стены как бревнышко. Но быть бревнышком мне не очень понравилось, и я представлял себя и окном, и краем крыши, и ласточкиным гнездом – этот выбор уже увлекал, смешил. Тревога растворилась, и страх перед непонятностью жизни прошел.

А лучше всего было в лесу или в поле. Я уподоблялся деревьям и травам, удивляясь и радуясь этому сходству.

И танки в беззвучном приближении, когда они ползли к высотке, на которой я лежал, окопавшись, стали похожими на детские машинки, перевернутые мыльницы, и мертвенный страх превратился в мысль: если буду жить, то всегда.

Сейчас я привык или даже полюбил выходить из дома перед рассветом, чтобы посмотреть на поле возле леса. Оно точь-в-точь такое же, как и то военное поле с ползущими в шахматном порядке танками – широкая низина, поднимающаяся к высотке с берегами. Надо же было построить свой дом в этом месте! Ведь сходство я увидел уже потом, когда дом вырос.

Нас был взвод. Несколько противотанковых ружей. И мы начали стрелять издали по этим танкам. Их было штук двадцать. Слышно было, как бьют пули пэтээров по броне, отлетая рикошетами. Ясно было, что танки нас раздавят – немцы всегда так поступали с пэтээрщиками. Да и со всеми остальными, кто в них стрелял, – в любом случае танки, вползая на высотку, утюжили ее, перемалывали гусеницами. Вместе с убитыми, ранеными, живыми. Всегда. Готов ли я был умереть? Нет.

И вдруг танки остановились. Одновременно и одинаково повернули на месте и поползли в сторону по низине. Мы прекратили стрельбу, хотя в боковую броню, конечно, стрелять удобнее. Лежали, как будто сознание потеряли с открытыми глазами. И танки давно пропали, а мы все лежали. Сколько так прошло времени, не помню. Может, оно остановилось. Или исчезло. То время, я думаю, похоже на нить, которая была натянута отдельно от жизни и оборвалась, а сейчас, когда я смотрю на это похожее поле, то стараюсь поймать обрывок того времени. Помню тогда только тишину, которая звенела в ушах, но тишина – это не время. Сколько продолжалась та тишина? Она и сейчас продолжается, раз я об этом думаю. В этом, наверное, и разница между временем и тишиной: время идет, а тишина продолжается.

Звезды гаснут. Растворяются в рассветном небе.

Когда я здесь стою, всегда вспоминаю Эмму. Это уже как привычка. Жалко, что ничего нового не вспоминается. Хочу припомнить что-нибудь неожиданное, а все начинается с одного и того же: открывалась утром дверь, тихонько-тихонько, как ее улыбка, и в эту щелочку заглядывали ее глаза. Было ли в моей жизни большее счастье?

Мне кажется, что она тоже думает обо мне в такие минуты, в ответ. Где она? Я смотрю на небо, на котором еще осталось несколько слабых звезд. Души умерших уносятся вверх и смотрят оттуда? Не знаю. Я никогда не чувствовал, что Эмма там. Она умерла летом сорок пятого, но я никогда не мог потом подумать о ней как о мертвой. И как о живой тоже не мог, ведь я помню тоненькую струйку крови изо рта и застывающий туман в ее глазах. За эти годы я как будто вернул ее себе, в свою жизнь, которую никто не видит и не знает. Эмма там. Это тревожный и странный мир, который я вижу, но никак не пойму, какой он. Почему меня самого туда не пускают, если я хозяин этого пространства? Эмма там всегда одна – такая, как я о ней думаю.

Но я знаю, что долго так думать нельзя. Пропаду. Я даже не понимаю, что значит для меня «пропаду», это не умру и не заболею, но именно пропаду. Нельзя долго думать о бесконечности, о непонятном, о том мире, где Эмма. В него можно только входить и обязательно выходить. Это надо не только для меня, но и для Эммы, ведь если я пропаду, то и она исчезнет.

Я представляю дождь или жука, который перебегает сейчас пыльную улицу неслышными шагами. Почему дождь, почему жука? Просто так, чтобы подумать о чем-то другом, понятном. А лучше всего мне помогает какая-нибудь работа. Люблю копать землю, это началось уже после войны, за все ее годы я ни разу не копал хорошей земли – почему? Удивительно. Перекопал, наверное, тонны – окопы, ячейки, просто окапывался, падая в атаке под обстрелом, а хорошей земли не помню. А сейчас копать – как детям играть, в радость. Хорошо огород перекапывать, ямы под столбики забора, сейчас вот ворота буду ставить. Ямы под воротные сваи нужны как одиночный окоп, чуть ли не в рост. Пистолет, который принес с войны, я несколько раз в саду закапывал. Зарю под яблоней, потом думаю – нет, в другом месте лучше будет. Опять закапываю, поглубже. Смазанный, упакованный, лежит в земле. Нет, не дожидается своего часа – лежит, ненужный. Жалко просто выбросить.

Черенок лопаты я нащупываю у начатой вчера ямы, даже не видя. Земля податливая, целиком наполняет лопату. Небо светлеет, и уже заметно, какие влажные и блестящие комья земли на срезях.

Пронесся ветерок, будто воздух очнулся от ночной неподвижности. И звуки появились – скрипнул колодезный журавль, кто-то кого-то окликнул вдалеке.

И меня окликнули.

Жена стоит на крыльце. Держит ведро – идет доить корову.

– Люди увидят, смеяться будут.

Это она о том, что я копаю в такое время.

– Вместо зарядки, – отмахиваюсь я. – Днем времени не будет.

Интересно, а можно сказать правду, зачем я копаю?

Жена скрылась в сарае, оттуда донесся шумный вздох коровы. Я тоже так же вздохнул, опершись на лопату. И улыбнулся – какие смешные эти утренние звуки. Почему эти звуки кажутся мне смешными? Никому не объяснить и даже не сказать о том, что смешно, когда проведешь ладонью по гладкому бревну в стене и похлопаешь, как будто по арбузу. Сам не понимаешь. Но я неправильно сказал. Не смешно, а радостно. Потому и смешно.

Так все спутанно, понятное и странное. Понятные движения – провести ладонью по стене, копать землю, и странная радость при этом. А небо? Понятен взгляд, а чувства странные. Если взглянуть на него одним долгим взглядом от горизонта до горизонта в такое утро, скользнуть глазами от черного цвета до рассветного, словно пробуждая жизнь и здесь, внизу, – только засмеешься.

Мне вспоминается один давний сон, в котором жизнь увиделась похожей на длинный коридор со множеством дверей. Я поочередно открываю эти двери, заглядываю в них, и за каждой из них часть моей жизни, которую знаю только я. Так жалко, что больше никто этого не видит. Так жалко, что некому об этом сказать и рассказать. Только себе. Тому, кто внутри меня.

Детство, небо, поле с березами на высотке, длинная молчаливая деревенская улица, на краю которой стоит мой дом, – сколько их, моих дверей? Много.

Как упруго звучат струи молока. Переговариваются. Я подхожу к самому сараю и долго слушаю, пока жена не закончит доить. Выходит с ведром в руке и смотрит на меня, словно не узнает.

– Что ты все думаешь? – спрашивает она.

Я не знаю. Пожимаю плечами, беру у нее ведро, ставлю на землю, кажется, что я хочу ей все сказать, объяснить, рассказать... Мы медленно ступаем, как в почти неподвижном танце, и плывем в глубь сарая – мимо коровы, мимо ее бесконечного вздоха к плотному сено.

– Ты что, с ума сошел, дом же есть...

Я слушаю множество шорохов, в которых не разобраться, не успеваешь услышать один, как уже следующий – так в сарае все шуршит, шумит, вздыхает. Сено пахнет, я зарываюсь в него лицом, и мне кажется, что я, как в своем сне, открываю, открываю двери... И чувствую, что корова осторожно и тихо обнюхивает мою голову, плечи, спину. Не отгонять же ее. Но она и сама отходит, обнюхивает ясли, наполненные сеном, смотрит в них долгим печальным взглядом, как будто видит в них кого-то, и мне кажется, в глазах ее то ли воспоминание, то ли предчувствие. Потом она выходит из сарая, большими боками раздвинув створки ворот.

Жена поправляет волосы, выбирая из них сено. И смеется:

– Она поняла, что мы делаем.

– Кто?

– Зорька.

Я тоже улыбаюсь. Конечно, поняла.

В темноту сарая врывается мерцающий утренний луч.

С чего начинаются воспоминания? Не с первой их подробности, конечно. Если это сравнить с тем, как мы открываем альбом, то не с первой фотографии, не с первой страницы альбома. Начало воспоминания – пустота. Как же напряжена она в своем выборе!

Я опять думаю свою детскую мысль: а может, весь мир был создан так же? И так же начинался – с пустоты, густеющей напряжением.

Густеет и моя память, и появляется в ней первый день. Большой сад, под деревьями длинный стол, много людей. Они поют – я всегда жалею, что моя память нема. Зато она допускает ошибку, которая радует меня всю жизнь: сад одновременно цветущий и с плодами. Лепестки цветов летят по ветру, а на стол отвесно падают большие груши.

Я сижу, как на троне, на коленях у деда.

Бабушка убирает расколотые грушами тарелки, недовольная тем, что стол стоит прямо под деревом. А дед улыбается – внуку будет что вспомнить. Он оказался прав. Я запомнил, как мы с ним считали эти груши, особенно радуясь пятой, расквашенной и скособоченной от удара о стол, отсчитавшей, сколько лет исполнилось мне в этот день.

Я думаю, что это и есть тот мир, который закрыт для живущих. Появившись в моей памяти из пустоты, этот сад принадлежит не мне, а людям и деревьям, его составляющим. Я ничего не могу в нем изменить – ни отнять, ни прибавить, ни назвать кого-то по имени, ни услышать их песню, ни произнести их слова. И понимаю: они остались в своем мире, в который не пускают живых, и не хотят, чтобы я рассказывал о нем. Но им необходимо, чтобы я их видел.

А вот другая часть воспоминаний, с подробностями жизни, с событиями, в которых участвуют эти же люди, принадлежит мне.

Еще на войне я научился перемещаться в своей прошлой жизни, словно отталкивался от непроницаемой пелены будущего, как от стенки окопа, к которой была прислонена моя голова. Однажды, еще во время отступления, когда у людей вместо настроения была одна непрерывная тоска, со мной заговорил старый солдат.

– О чем думаешь, сынок?

– Вспоминаю. Дом, родных.

– Вот это правильно. Сейчас самое правильное – вспоминать. И не убьют тебя. А о том, что будет, не думай. Судьба этого не любит.

Этого солдата я так и не увидел. Говорили мы в темноте, а назавтра я хоть и выискивал среди солдат пожилого, чтобы увидеть его лицо, но ни одного не нашел. Все у нас были молодые.

Но я, наверное, и без этого совета старался не думать о том, что будет. Будущее не допускало меня к себе, и я его боялся. Наверное, боялся, что увижу себя на том свете, куда попаду после следующего боя. Потому и отгонял от себя эти мысли, а только вспоминал. На дне окопа, свернувшись калачиком и слушая гул земли, или на ночных маршах, когда мы шли и спали на ходу, или при вспышках артналета, я пересматривал свое детство и юность, как будто читал книгу, листал ее, открывая страницы наугад. Только однажды я подумал о будущем. Когда на минном поле обезвреживал мину и никак не мог отсоединить примерзший взрыватель, и он вдруг сработал, шелкнул, – я мгновенно увидел маму, которая плакала обо мне. А мина почему-то не взорвалась.

Я всю жизнь думаю об этом – почему меня не убило на войне. Есть ли объяснение, что я жив? Я думаю, нет. Потому что не может быть такого объяснения. Почему же тогда другие погибли? Нас ушло из деревни сто тринадцать, а после войны в живых осталось двое. Разве можно это объяснить?

Хочется замолчать.

Страшно было, когда увидел первых убитых, целое поле, и потом, на Днепре, когда смотрел с понтона в воду, а там все дно устлано...

Но я по-другому хочу сказать про страх. Какое-то внутреннее чувство заставляло меня не замирать, не ждать конца, а действовать. Наверное, просто молодой был. Нет, нельзя это объяснить.

На меня пикировал немецкий самолет, и я видел лицо летчика и вспышки пулемета – а я стоял на песчаной отмели у переправы, держа пару лошадей. И какое-то предчувствие, как летят в меня пули, подбросило меня и перенесло через них. Весь песок был изрыт пулеметной очередью, а я даже испугаться не успел.

Или, например, направил на меня сержант винтовку, говорит, пристрелю. А дело было ночью, он приревновал меня к девушке, которая только меня приглашала весь вечер. Вышли мы в ночь из дома, где были танцы, никто не видел, как мы уходили, а он, оказывается, и винтовку прихватил. Говорит, пристрелю, и никто разбираться не будет, мы на вражеской территории. Кажется, это Польша была. Я вижу, действительно пристрелит, ни ума у него, ни жалости. И если б я испугался, он бы так и сделал. Раньше я видел, как он перед строем расстрелял дезертира. Тот плакал, а сержант прищурился, усмехнулся и выстрелил. И я вдруг говорю через его голову:

– Мишка, а ты как здесь?

Сержант растерянно оглянулся, а я как дерну за винтовку – она и оказалась у меня в руках.

– Ну, – говорю, – кто кого пристрелит?

Сержант бросился на колени и стал просить. Я повернулся и пошел.

Конечно, он бы и потом мог со мной расправиться. Послать куда-нибудь на смерть или просто в бою сзади застрелить. Мне потом рассказали, что его самого именно так и застрелили.

Или еще был случай: завалило меня при взрыве стеной здания. Я бросился в окоп, а стена меня и накрыла. И контузило при этом. Очнулся и сначала подумал, что уже умер. А потом стал обследовать пространство вокруг себя. Если б испугался, силы бы пропали – там мне и остаться. Но все-таки я понимал, что живой и что надо как-то выбираться из-под завала, потому и искал всякие щели, чтобы их расширить. Засветился слабенький свет, я в том месте и стал усиленно раскапывать. Копал руками, долго копал, в сплошной темноте времени не разберешь. Может, несколько часов, может, больше. И вылез. А мой взвод, оказывается, уже назад из боя возвращается. Чуть меня за дезертира не приняли и прямо тут, перед строем и не расстреляли. Политрук рвет из кобуры пистолет, а у него на руке висит лейтенант, не дает стрелять. А я стою, улыбаюсь и моргаю – ничего не слышу. Поняли они, что я контуженый, я показал руками, как меня завалило, откуда я вылез, ну и не расстреляли.

Это я вспоминаю лишь некоторые случаи – первое, что приходит в голову, и даже сам удивляюсь, что страха такого, как говорили у нас на фронте, парализующего, у меня никогда не было. Не думаю, что это находчивость или смекалка, а как будто кто-то внутри меня быстро думал, что делать. И испугаться я при этом просто не успевал.

Может, это воспиталось, когда в первый год войны работал в шахте. Ползешь по забою, высота которого шестьдесят сантиметров, в темноте, только горит керосиновая лампа, долбишь каменный уголь. И так всю смену, двенадцать часов. Надолбишь корыто, которое тащишь за собой, возвращаешься, и дальше. Бояться, по-моему, я там разучился. Но помню, что одна мысль меня очень удивляла: что Бог обязательно есть. А тогда как раз сильная агитация везде была, и в школах, и на каждом шагу – просто, без всяких особенных хитростей повторяли, не переставая: Бога нет. А я ползу и думаю, как же нет, если я даже вот здесь, под землей, о нем думаю.

Всю жизнь я мечтал уметь что-нибудь делать очень хорошо. И ни о чем так не мечтал, как о музыке. Но не умел – ни играть, ни слушать. И вот совсем недавно, как-то вдруг случайно вспомнив один случай из жизни, подумал о том, что я сам и есть музыкальный инструмент. И музыка, и чувства – во мне. А подумал я о себе как о музыкальном инструменте, вспомнив, как вышел рано утром из военкомата, в котором уговорил девчушек отдать мне документы, чтобы убежать куда подальше от энкаведэшников, которые на работу к себе вербовали после войны. Я вышел в утреннюю темень, холодную, промозглую, и вдруг почувствовал, как меня словно обнимает из-за угла теплый ветерок – пахло им так ласково-податливо, что я чуть не расплакался. И вот тогда мне показалось, что на мне будто кто играет музыку.

Я тогда слушал в себе эту музыку и понимал, что ничего нельзя объяснить – ни того, что я остался жив на войне, ни всех событий с их причинами и следствиями, ни самой жизни. Единственное, что возможно для меня в этой жизни, – хотеть быть лучше. Слушать музыку и становиться лучше, думать об Эмме, разгадывать ее улыбку и становиться, быть при этом лучше. Единственный и самый главный враг мой при этом – остановка мысли, то, что ее останавливает. В любую минуту, в любое мгновение я должен идти в своих чувствах дальше, продолжаться и преодолевать этого главного врага – остановку мысли и чувства.

Потому сейчас я так суетлив в выборе воспоминаний, вспыхивающих во мне. Наверное, этим я стараюсь победить своего главного врага – эту остановку. Я говорю себе непрерывно, говорю тому, кто внутри меня, Эмме, перескакиваю с одной подробности жизни на другую и, конечно же, допускаю ошибку. А ведь мне некуда спешить. Некуда. Вот я, вот моя жизнь во мне, и я свободен не только в выборе воспоминаний, но и в их свободном течении. Не надо спешить, не надо. Мой главный враг так много терпел от меня поражений, что я могу уже его не бояться. В конце концов, можно иногда и поиграть с ним – он подумает, что я уже навсегда остановился, а я просто помолчу и через какое-то время продолжу.

Память сохранила лишь маленький кусочек счастливого детства, после которого вся наша семья, стронувшись с места, уже не останавливалась. Дорога продолжалась всю жизнь,

память слушает гул движения, и он стал звуком времени, текущего назад. Я думаю, каждый чувствует то же. Найдется ли человек, проживший всю жизнь на одном месте? Найдется ли человек, для которого детство не было тем раем, изгнанием из которого началось если не скитание, то уж точно бесконечное перемещение по жизни?

Но, сравнивая себя со всеми людьми, объясняя свое оставление детского рая, я вспоминаю это как самое большое потрясение в жизни. Потому что чувствовал в дорожном молчании взрослых то горе, которое не имело выражения в словах и разговорах, и казалось, сама ночная темнота, во время которой мы почему-то двигались, чтобы днем остановиться, распрячь и покормить лошадей, – сама темнота была погружением в горе и неизвестность.

Память дополняется не только опытом, но и тем, что узнаешь потом, на протяжении всей жизни. И сейчас я словно объясняю себе, тому маленькому мальчику на телеге, почему мы уехали из нашей деревни. Он все видел, а я сейчас пытаюсь объяснить. Хотя объяснить это, наверное, невозможно.

Наша двойная семья убегала от раскулачивания. Двойная – и с отцовской, и с материнской стороны. Мне в детстве казалось, что это именно я объединил, породнил две семьи. Жили в деревне Большие Липяги два рода, Выскребенцевы и Лапочкины. Мои отец с матерью поженились, родился я – и стала одна большая семья. Все мне родные, а значит, и родные между собой. Простая детская мысль, объясняющая, как чужие прежде люди становятся родственниками.

Бескрайний сад моего деда Ермолая Лапочкина я запомнил на всю жизнь. Другой дед, Стефан Выскребенцев, служил до революции в Зимнем дворце прожектористом – освещал дворец. Когда он приезжал домой на побывку, то привозил бочонок селедки, каждому односельчанину, приходившему поздороваться, выдавал селедку. В революцию его, уже старика, выволокли во двор и хотели расстрелять – соседи не дали. Но после этого он уже не встал – умер от пережитого. Сад Ермолая Лапочкина при новой власти постепенно пришел в запустение, жизни огромных деревьев едва хватило на десяток с лишним лет. Даже деревья не могли жить без хозяина, а новые хозяева жизни вырубали их на дрова для сельсовета. Я, родившийся в двадцать пятом году, еще помню, что по-прежнему на все праздники односельчане собирались в саду, ставили столы и пели. Но пение угасало с каждым годом – безрадостнее и немее становилась жизнь.

Я помню свое детское чувство резкого деления людей на хороших и плохих. Откуда взялись злые? Они же не приехали откуда-то, не упали с неба – жили здесь всегда, но стали, как в страшной сказке, оборотнями. Сейчас я думаю, что тогда, в детстве, научился их узнавать издали по злости, которую они несли в себе. Мы, дети, разбегались по домам, когда они шли по улице, почему-то всегда группой, всегда с оружием, и, заходя во дворы, первым делом пристреливали лающих на них собак. Одеты они были в то, что отнимали у других людей, и это резко бросалось в глаза, ведь в деревне принадлежность одежды всегда была привычной, как и весь облик человека. Я тогда по-детски не понимал: как можно носить чужую одежду, если прежний хозяин живет рядом? Он же не отдал, не подарил, у него отняли, разве так можно? А люди терпели, закрывались в домах, стараясь не выходить на постепенно пустеющую улицу, и – боялись.

И раскулачивание – казалось, само слово, наполненное плачем женщин и молчанием мужчин, увозимых на подводах, – приближалось к нашим двум домам, стоящим на улице напротив друг друга. Я это понимал, подслушивая вечерние тихие разговоры взрослых. Дед Ермолай все повторял свое решение уехать куда-то «на шахты», пока еще не поздно, и говорил, что ждет оттуда от свояка письмо. Только бабушка Матрена, жена умершего деда Стефана, отказалась ехать, а осталась в деревне, в одном из наших двух домов, напротив второго, с заколоченными окнами.

Что еще я могу вспомнить? Какие подробности? Мне кажется, их и не было, растворились в тревоге тех дней. Я только чувствовал общий настрой семьи и помню его как ожидание отъезда.

Но воспоминания, как засеянное весеннее поле: привык уже к одному и тому же виду, привык к чувству, и вдруг – окинешь взглядом все пространство и видишь, что оно не такое, как вчера, а непривычное. Прорастает. Так и в воспоминаниях – привыкаешь к их постоянству, привыкаешь к тому, что в них не появляется новых подробностей, но вдруг почувствуешь и запах лошадиной упряжи, и услышишь скрип, и слова сказавших их людей – как будто только что совсем рядом прозвучали.

Я опять вспоминаю тот давний сон, в котором жизнь увиделась как длинный коридор с множеством дверей. Я поочередно открываю эти двери, заглядываю в них, и за каждой из них часть моей жизни.

И понимаю, что необходима форма, в которую я помещу свои воспоминания. Пространство чувств – как этот коридор. Без этого нельзя, музыка ведь тоже звучит в форме, заполняет ее и поэтому продолжается.

И я начну, как принято, с начала, постепенно продолжая открывать двери в своем коридоре. Не знаю даже, будут ли это последовательные события или истории, но буду говорить только то, что вижу в своей памяти.

1

Гул памяти моего детства – дорога, по которой я хотел бы вернуться обратно. Может, поэтому и все остальные звуки в моей жизни кажутся мне тоже обращенными назад, наполняются смыслом возвращения. Так последний удар грома заставляет вспомнить всю неровную строчку глухого небесного бормотания от конца к началу. И даже музыка подтверждает – звучит только то, что прошло.

Я проснулся ночью. Перед глазами было черное небо, полное звезд. Голова моя дрожала, и звезды превращались в размытые фигурки. Я понял, что лежу на телеге и мы едем.

И звезды потекли вниз вместе с моими слезами, я вытирал их, звезды опять взлетали на свои места и опять текли...

Рядом с телегой шел отец. Он почувствовал, что я плачу, и погладил меня. Я закрыл глаза, запоминая на всю жизнь звезды на небе и в моих слезах, отца рядом и его ладонь на моей голове.

Утро ударило в глаза ярким солнечным светом. Я огляделся и увидел, что мы стоим на берегу речки, лошади распряжены и пасутся, горит костер, бабушка мешает ложкой в котле. Радость путешествия охватила меня, ведь я еще никогда не уезжал далеко от дома, останавливаясь в незнакомых местах, которые раньше мог только представлять, не вспоминая свой дом издалека – я почувствовал, что от этого он еще роднее. И тут я вспомнил свое ночное горе, вспомнил, что мы уехали из своего дома навсегда, и слезы опять навернулись на глаза.

Кроме бабушки, все наши спали. Я умылся в речке, увидев, что заметили меня и притаились маленькие рыбки на песчаной отмели. Мне захотелось превратиться в одну из этих рыбок. Нет, лучше в птицу, чтобы полететь к своему дому.

Я обошел поляну, на которой горел наш костер, и через кусты вышел за какой-то птичкой к дороге. Вот и след от нашей телеги – повернув, колеса надвинули на траву горки песка. Я долго стоял и смотрел на этот неправильный песок, почему-то представляя, как наша телега вернется по этому следу на дорогу и повезет нас обратно к дому. Наверное, от этого я заплакал, потому что лицу стало щекотно от ползущих по щекам капель. А может, это речная вода еще не успела высохнуть.

Надо было возвращаться к костру, но тут я увидел, что на дороге из-за поворота показались одна за другой несколько телег, рядом с которыми ехали верховые с винтовками. Я шмыгнул в кусты и притаился, потому что понял: это едут раскулаченные – точно такие же подводы в сопровождении всадников отъезжали из нашей деревни. Как же я боялся и ненавижу этих людей на лошадях с винтовками поперек седел! Молчаливые и злые, они были похожи на собак, которые, глядя исподлобья, собираются наброситься. Почему лошади под ними их не боялись, не несли от страха, а покорно слушались?

Вдруг обоз остановился. Раздались крики и плач. Плакала женщина, сидящая на передней подводе. Она держала на руках маленькую неподвижную девочку, у которой на весу болталась ручка, и причитала. Один из всадников, тот, что был впереди, вернулся и грозно крикнул на нее. Женщина заголосила еще громче, потом замолчала, медленно слезла с телеги, подошла к всаднику и плюнула ему в лицо. «Будьте вы прокляты!» – крикнула она. Всадник ударил ее по голове прикладом винтовки, и она упала. И девочка тоже упала рядом с ней. Подъехал еще верховой, они слезли с коней и положили женщину обратно на телегу. Потом подошли к девочке. Она лежала вниз лицом. «Чтоб не мучилась, Михалыч», – сказал один из них, поднял винтовку и воткнул в девочку штык. На телегах завизжали женщины, но всадники закричали на них, выстрелили вверх, и все стихло.

И все исчезло в черноте.

2

Я часто думаю, что там, у дороги, и закончилась моя настоящая жизнь. Та, что была мне предназначена. Потому что я долго не хотел жить дальше, словно чувствуя, что попал не туда, словно желая вернуть неправильную жизнь кому-то обратно.

Почти год я не говорил.

Меня лечили от испуга, бабушка шептала надо мной молитвы, дед рассказывал и читал сказки, подмигивая и переспрашивая, но я молчал. И дело было не в болезни, не в немоте, сковавшей мне горло. Я не только не мог, но и не хотел говорить.

Это была даже какая-то радость укрытия себя от непонятного и страшного мира, в котором я оказался. Помню, как я почувствовал впервые это молчание на берегу речки, куда принесли меня и облили водой после того, как нашли без сознания в кустах, и я смотрел сквозь радужные капли на солнце, облака, деревья и не мог ничего сказать, а хотел раствориться.

И потом, когда ехали на телеге, я все смотрел назад и думал о том, что время идет неправильно. Мне казалось, что после девочки оно должно остановиться. И если времени надо идти, то пусть бы шло обратно, как эта убегающая назад дорога. Тогда бы все страшные события не появлялись, а, наоборот, исчезали.

Но как раз это самое время, идущее вперед, меня и спасло. Шли дни за днями, и жизнь окутывала меня новыми чувствами, и новое место, где мы поселились, казалось мне уже интересным. Станным был непрозрачный дымчатый воздух, который хотелось потрогать и развевать руками. Маленькие домики шахтерского поселка были похожи на скворечники, наклепленные вдоль узких улиц, и повсюду, и на улице, и дома был запах угля. Я уже привык к нему, хотя чувствовал, что этот запах никогда не станет для меня родным и домашним. Волнение и тревожное ожидание, которое я испытывал потом на всех вокзалах и во всех поездах моей жизни, начались в маленьком поселке у подножия терриконовых гор.

Как точны предчувствия детства, хочется думать мне сейчас, хотя знаю, что это не так. Не в детстве я предчувствовал эту тревогу, а, наоборот, во взрослой жизни угольный запах поездов искал себя в прошлом. Память всегда волнует и тревожит, если не умеет порадовать мгновенным попаданием.

Я долго чувствовал ту жизнь, которая, как мне казалось, закончилась у дороги на берегу речки вместе с жизнью маленькой девочки. И потом привык любить время, обращенное назад. Я улыбаюсь – если Бог не захотел завести время в обратную сторону, то это делаю я сам в своих чувствах. Но силы наши не равны. Только-только почувствую слабое обратное течение, но тут же побеждает несущий куда-то поток, вечное, бесконечное половодье. На телеге ночью под звездами, закрыв глаза, мне удавалось плыть обратно. Я даже засыпал иногда в этом направлении и, пробуждаясь, вздрагивал оттого, что натыкался на привычный ход времени.

И если когда-нибудь мне захочется сойти с ума от непонятности этой бесконечной и размытой по краям жизни, то я раскину руки, стану впереди времени, подчинюсь ему, отчаявшись победить, и понесусь, давимый им в спину, в неизвестность. Что там?

Надо успеть рассказать.

Спасаящим меня было чувство, с каким я смотрел на небо. Я чувствовал на себе взгляд оттуда, сверху. И еще мне казалось, что там и я, каким был в начале своей жизни.

Я перенес на небо все, что хотел хранить в себе, и радовался этому бесконечному, безграничному тайнику над собой.

Сейчас я думаю: может, меня не любили, раз я так искал отражения своих чувств? Любили. Родители, уходя на работу в шахту, вырывали меня друг у друга, прощаясь, а приходя,

бежали ко мне, спотыкаясь о порог. Бабушка ходила вокруг меня весь день, поглядывая, как насадка. А дед – для деда я вообще заменил собой все живое в этом мире. Но мне, наверное, мало было человеческой любви, и я хотел почувствовать ее над собой, в пространстве, в небе. Хотел найти главное, что есть в жизни.

Целыми днями дед лепил из каких-то разломанных ящиков и из глины пристройку к домику, где мы поселились, – очередной скворечник на кривой улице поселка. Странно было видеть, как этот огромный человек, который казался когда-то великаном даже по сравнению со своим большим деревенским домом, возится с маленькой мазанкой. Наверное, у деда, как и у меня на берегу речки, появилось неистребимое желание спрятаться от чуждого мира, остаться со своими чувствами. Только я онемел, а он уползал в свою нору. Я боялся, что дед там и останется, когда он заходил в сырое маленькое помещение, опустив голову, и сидел там на чурбаке, исподлобья оглядывая стены.

Тогда небо и улыбнулось мне впервые.

Вдруг разошлись облака, открыв в одном месте пронзительную синеву – я почувствовал, и понял, и решил: небо смотрит на меня, и вот с этим я буду жить дальше. Небо улыбнулось мне и опять стало затягиваться мглой, но во мне уже осталось навсегда это родное чувство.

Я показывал на эту небесную улыбку и выговаривал какие-то слова. Дед вывалился из мазанки, подхватил меня и стал подбрасывать вверх, крича:

– Заговорил! Заговорил!

Я летал и смеялся оттого, что чувствовал себя подружившимся с небом. Жалко было, что этого нельзя объяснить деду. Только небо и могло это понять.

Только небо.

На всю жизнь оно стало молчаливым собеседником, забирающим себе, а может, и растворяющим в себе безответные на земле вопросы.

3

Может быть, я говорю не о том? Но разве это возможно – говорить не о том? Долгое молчание научило меня ценить слова, и я люблю их, как слепой любит свои сны. Я вижу, как они всплывают трепещущими воздушными пузырьками в воде молчания, вырываются из немоты. Почему они, а не другие? Почему другие остались в глубине? Устлали дно, как погибшие на днепровской переправе? Почему я не говорю о толпах голодных людей с детьми вдоль дороги, по которой мы ехали к шахтерскому поселку? Девочка забрала мои слова. Я помню, как дед сказал тогда бабушке обо мне: «А может, и лучше, что он молчит. Что мы ему ответим?»

О чем невозможно сказать, о том приходится молчать.

Но о школе.

Почему но? Потому что школа – как обратная сторона моей жизни, как чистая подкладка ее одежды.

Каждое утро дед провожал меня со двора на улицу, отпускал руку и говорил:

– Ну, иди. Ученье – свет.

От этих слов мне и вправду казалось, что впереди светлее.

И я шел со странным чувством ожидания огромного пространства. Помню это чувство дороги в школу – как будто внутри меня было ее начало. Я словно бросал перед собой клубочек, который разматывался, указывая путь в неизвестность, частью которой был и я, будущий. Меня тянуло туда, в исправленную жизнь.

Я оглядывался и чуть не плакал от жалости, чувствуя, что навсегда оставляю родителей, деда с бабушкой, оставляю и себя самого в прошлой жизни, хотя никуда я не уезжал, школа была рядом, на краю поселка. Дед смотрел вслед, махал рукой, словно подталкивая воздух – иди.

Что меня удивило в школе сразу? Разнообразие, скрытое под одинаковостью. Все разные, но как будто скрылись под похожими масками. Взрослые под масками учителей, дети – учеников. Мне было интересно разгадывать, и я целыми уроками переводил взгляд с одного человека на другого, как будто соединял ломаной линией звезды в созвездие.

Я и самому себе удивлялся, своим изменениям. Разнообразие открылось и во мне, я чувствовал, что моя внутренняя жизнь тоже течет, как вода подо льдом. Под маской.

Я погружался в мир условностей, но он был интересен, потому что позволял мне думать внутри себя, давал для этого пространство. Маска позволяет быть результату. Как только ты сам по себе, все остается внутри тебя. Без маски мир тебя не видит.

Даже идет человек, если только надевает на себя маску идущего.

Но стоп. Надо помолчать. Самое странное в этом мире – воспоминания.

Разве чувствовал все это маленький мальчик? Думал ли он по дороге в школу, что оставляет навсегда отца и мать, разве мог понять, что мысль живет под маской, рождается лишь при условии сокрытия внутренней тайны?

Я не нахожу этому объяснения, но сейчас мне кажется, что воспоминания находят единственно правильный путь. Было так или сейчас стало так? Молчаливая маска времени знает это.

Однажды после уроков, когда уже все разошлись, я сидел по своему обыкновению один в классе, глядя в окно. Счастливые минуты! Я научился чувствовать себя в себе, как в маленьком сосуде, который находился в пространстве большем – в классе, и класс – в школе, и здание школы – в огромном мире. И я посылая свои молчаливые слова через эти пространства,

нанизанные друг на друга, и эхо возвращенного смысла моего нахождения здесь доносилось через вздрагивающее стекло неразличимыми далекими звуками.

Почему именно в школе я чувствовал это, дома ведь тоже можно было так же сидеть у окна?

Этот простой, но вряд ли кому-то, кроме меня, понятный вопрос мучает меня всю жизнь. Почему пустой класс с рядами одинаковых парт был местом взлета моей души? Какое-то странное чувство равности себя всему миру появлялось у меня здесь. Словно были только я и мир. Я и он.

Дома я этого не чувствовал. Обычность домашней жизни и привычная грубость житейских подробностей как будто выталкивали меня туда, где я мог думать один, не смущаясь и не стесняясь, потому что само место для этого и предназначено. Пустой школьный класс был этим местом.

Сейчас я вспоминаю это и улыбаюсь – храм. И в воспоминаниях, и в улыбке, и в самом определении не чувствую ни иронии, ни пошлости, а чувствую ясность происходящего: я вспоминаю, я улыбаюсь, я произношу слово, которое вдруг появляется. Да, это был мой храм. Сейчас уже нет времени смущаться и стесняться, успеть бы. Успеть сказать.

Странно, мне никогда не хочется вспоминать школьные истории. М. предал Н., Н. перед выбором, что делать... За полвека моего учительства я понял, что ничего этого нет. Есть только ученики, они и сейчас передо мной. И мне кажется, что я учил все эти годы того мальчика, сидящего в классе.

А что еще было? Свет, о котором говорил дедушка.

И когда уже в классе стало темнеть, и пора было уходить, дверь тихо открылась. Я скользнул под парту и затаился. Вошла моя учительница. Так же, как и я, она села впереди и стала смотреть в мерцающее окно.

Время шло. А может, и застыло. Я перестал быть только собой – мы были вместе в одном пространстве, одним существом. Так мне казалось. Почему-то я вспомнил ту девочку на берегу речки, как будто и она была с нами.

Учительница тихо вздохнула, словно пронесся ветерок, и стала шептать. Это было похоже на молитву, но не словами, а повторением вдохов и выдохов вместе с покачиванием. Она шептала о том, как ей хорошо здесь и светло, да, именно светло, и что не хочет туда возвращаться, в чужие разговоры, в грубую беспросветную жизнь. Здесь воздух и небо, здесь ангел пролетел.

И что-то качнулось над нами.

Я все понимал, понимал больше слов, потому что чувствовал то же самое.

Она тихо плакала, но не было горечи этого плача, как будто по-другому и нельзя было шептать эти слова, как будто они сами были слезами.

Я оказался рядом, и она не удивилась моему появлению. Прижала меня к себе, и мы сидели вдвоем в темноте так долго, чтобы это осталось самым главным моим воспоминанием о школе.

Потом мы шли домой по скользкой улице, и я показывал ей, как надо сильнее разгоняться перед ледянками.

– Ах ты мой маленький учитель! – приговаривала она, разбегаясь и скользя, и смеялась, как девочка.

Я рассказывал ей о небесной улыбке, показывая вверх, и она заменяла эту не существующую на темном небе улыбку своей.

Счастье бывает разным. Такого, именно такого, не было у меня никогда.

Сейчас, натолкнувшись где-нибудь взглядом на ледяную дорожку, я чувствую, как жизнь мгновенно останавливается и переносится далеко назад.

Времени нет.

4

Та жизнь, которой я жил в детстве, не позволяет о ней говорить, что-либо утверждая. Но и без этой точности, без подробностей событий я думаю о ней, спасаясь, когда проваливаюсь в пустоту. Я чувствую, что детство развеялось по всей жизни, даже по той, которая еще ожидает меня.

Бог разъединился и живет стремлением соединиться.

– Как же ты жил с такими чувствами? Как потом воевал?

– Жил. Воевал. С какими чувствами?

– Необычными.

– Все сказанное становится необычным. Это молчание и немота – обычность. Может быть, и сама жизнь – бесконечная и серая обычность. Но я обращаюсь к кому-то, прошу: дай мне сказать, помоги сказать. И слова, появляясь, словно просят меня: говори о самом главном. Они становятся другими. Моими, но другими. Может, поэтому они кажутся необычными. Может, кажутся, может, становятся. Я люблю их, эти слова.

Всю жизнь я стоял в классе перед учениками и думал, как мне сказать то главное, что есть в эту минуту. Даже о том, что два и два – это четыре. В тот момент это было главным. Я чувствовал, что у меня эти два и два на ладонях, и я их соединял в четыре. Перед тем как сказать, мне надо было это почувствовать.

Называние мира, укладывание мозаики, укутывание слов смыслом – так я по-разному определял для себя мои способы говорить. И думать. Потому что сейчас я имею в виду сказанное не только вслух, но и внутри себя. Не знаю, когда это началось. Это было со мной всегда. Но я почему-то вспоминаю, когда эти сказанные слова впервые спасли меня. Это было глубоко под землей, в шахте.

Вот я и открываю очередную дверь в своем коридоре воспоминаний.

Может быть, это главное, о чем я хочу сказать. Это главное всегда было со мной, но я его не знаю.

– Бог?

– Бог. Уже нет времени уклоняться от этого ответа, хотя каждый человек поступает так всю жизнь. Мы не в силах смотреть на несгорающий куст, хотя он все время перед нами. У меня вместо этого куста тетрадь. Бывают дневники, бывают блокноты для записей, а у меня общая тетрадь, которую я завел давным-давно именно для этого, для своих главных мыслей. Она чиста до сих пор! Но я сижу над ней или думаю о ней всегда, думаю о том, что же я хочу туда написать.

Это лучшие минуты моей жизни – вглядываться в ту белизну, от времени ставшую желтизной. Лучшие. Невыразимость – предел моих размышлений о главном в жизни. Как похожа эта невыразимость мысли на невозможность увидеть и понять Бога! Расходятся, растекаются акварельными красками слова, мерцает смысл, остается пустой страница, но какое напряжение в этой пустоте! Как в мире перед его созданием.

И я вспоминаю такую же пустоту, нет, не белую, а диаметрально противоположную, проглотившую меня черноту в шахте, когда погас фонарь, и я почувствовал себя во чреве огромного, непомерно огромного существа. Время исчезло, сам я, телесный, исчез, осталась лишь мысль, которая уничтожила страх, поначалу прокрававшийся в меня: я здесь, я есть, если думаю внутри этого существа и обращаюсь сквозь него к бесконечной жизни. К Богу.

Было мне тогда шестнадцать лет, шел первый год войны, и вместо отца, ушедшего на фронт, я работал на шахте.

И вот сейчас, чуть ли не скороговоркой перечислив все мои тогдашние обстоятельства времени и места, я словно натыкаюсь на невидимое препятствие: а не придумал ли я все? Свои чувства, мысли, свое второе существование? Потому что сама жизнь в ее подробностях и в промежутках времени была такой тяжелой, жалкой и даже бессмысленной, что эти чувства и мысли кажутся в ней невозможными.

Но нет, не придумал. Словно в доказательство, появляется в моей памяти и свидетель. Ведь присутствующие когда-то рядом с тобой напоминают, о чем ты думал, даже если ты и не делился с ними своими мыслями.

Мы тогда были в забое с Мишкой, моим ровесником и двоюродным братом. Нас так и называли, Миша большой и Миша маленький. Он был выше, крепче и всегда перед сменой заходил за мной, чтобы я не проспал. Мать жалела меня, смотрела, как я сплю прямо за столом с едой, не решаясь будить. Мишкин голос вызывал меня из провального, кромешного сна, мы второпях ели, брали с собой «тормозок» – еду в шахту, выходили на улицу. Все одинаково, как обычно, повторяемо изо дня в день. Работа, сон, еда, дорога на шахту – это даже не повторялось, а было сплошной серой пеленой. И мне казалось, я исчезаю, пропадаю, перестаю чувствовать, что я – это я. Иногда, глядя на Мишкину спину перед собой, я представлял себя его тенью, плывущей по сумеркам переулков.

Это я говорю простыми словами, других и нет для того, чтобы объяснить: никаких особенных и необычных мыслей не было у меня тогда. Все мои чувства и мысли съедала усталость. Даже на небо лишний раз не было сил посмотреть. Поэтому, наверное, и запомнились мне на всю жизнь те чувства, что вспыхнули вдруг внизу, под землей.

Спустившись в забой, мы отползали по узкому, высотой всего чуть больше полуметра штреку к тупику, где и откалывали киркой уголь. Откалывал Мишка, я нагружал корыто, впрягался в лямки и волоком на четвереньках оттаскивал уголь. Иногда Мишка мне помогал тащить корыто, иногда я ему долбить – чтобы не затекали руки и тело, надо было разнообразить свои действия. Хотя какое там разнообразие! Мы быстро уставали и тогда просто лежали, отдыхая. Все повторялось изо дня в день, как всегда.

В тот день странно подрагивали огоньки в наших лампах и потрескивали чурбаки, которые удерживали породу над штреком. Мы переглядывались, но продолжали работать. Какой-то напряженный гул стоял в окружающей темноте, но я думал, что это просто гудит в ушах от ударов киркой, от громких шорохов.

И когда в очередной раз я оттащил уголь и полз обратно, то затрепетал и погас огонек в лампе, и сразу же раздался удар и грохот. В лицо ударила пыльная пробка, и я понял, что в штреке обвал.

Сейчас я рассказываю об этом и слышу себя будто со стороны. Нечасто так бывает, и это первый признак неточности слов – я чувствую, что не умею сказать. Иногда достаточно двух-трех слов, услышанных в своей речи, чтобы это понять. Не получается у меня сказать о страхе, который охватил меня тогда в темноте. Ведь это был и не страх. Я изменился в одно мгновение, и названия этому нет. Как можно назвать изменение? Я исчез, весь превратился в бессловесный зов к жизни надо мной, над всей этой непроницаемой теменью.

Все слова могут быть неточными и даже неправильными, кроме тех, которыми я сейчас попытаюсь назвать чувство, вдруг открывшееся мне тогда. Я его вспоминаю всю жизнь.

Вдруг ясно стало, что я, лежащий в пыли и темноте под землей, на самом деле только часть меня. И я не могу исчезнуть, потому что не исчезнет тот огромный и бесконечный я, который есть во всем мире, который и есть этот мир и к которому я взываю и обращаюсь в своем страхе и бесстрашии.

Написать бы это в своей белой тетради.

К Мишке я дополз – обвал в штреке оказался не сплошной. Направление угадывалось по породе, которую можно было разгребать руками. Я наткнулся на его сапоги – так и потащил

за ноги, почему-то боясь больше всего, что сапоги соскользнут и останутся у меня в руках без Мишки. Если бы он не пришел в сознание и не стал ползти сам, вряд ли у меня хватило бы сил дотащить его до забоя. Маленький язычок летучей мыши на столбе рядом с выходом из шtreка показался нам ярким светом. В забое никого не было. Нас подняла наверх следующая смена.

Мишку убило на Волховском фронте прямым попаданием снаряда. Но не взрывом. Он стоял на холме, снаряд пробил его и улетел дальше. Об этом я узнал уже после войны, хотя всю войну чувствовал, что его нет в живых. Он снился мне и говорил, что если и погибнет, то как богатырь. Так и вышло. Мне почему-то кажется, что в том снаряде, хоть меня не было рядом, была и моя смерть. Как богатырь, Мишка забрал ее себе.

5

Возвращения не бывает. На самом деле это продолжение дороги.

Немцы были уже близко, поэтому шахты взрывали или затапливали, а люди, кто мог, уезжали или уходили на восток. Мама и бабушка с дедом решили отправить меня на родину в Воронежскую область в надежде, что туда фронт не дойдет. Сами они оставались на месте. У них и сил не было на дорогу, и жалко было бросать очередной обжитой дом. Тяжело было расставаться, и я пытался спорить с дедом, но он так глянул на меня, что я понял: ни пылинки несогласия этот взгляд не потерпит.

Я и представить себе не мог, что так сбудется моя мечта о возвращении в родную деревню.

Это было похоже на обратное бегство – с ночными переездами, дневными остановками в перелесках, с постоянным самоощущением преследуемого человека. Я смотрел на такие же, как в детстве, дрожащие звезды на темном небе над телегой, на которой лежал, и вспоминал, что так же ехал когда-то, увозимый родителями, только в противоположную сторону.

Я думал: возможно ли вообще перемещение человека без необходимости, а просто потому, что он может передвигаться по земле и видеть новые пейзажи, может размышлять при этом не тревожно, не с постоянной, выматывающей надеждой на лучший исход, а просто потому, что хочет думать? Я вспоминал прочитанные книги о путешествиях – какими забавными и добрыми казались все эти разбойники и пираты, какими необходимыми в жизни были их приключения.

– Без надобности ты меня, парень, с печки не стащишь. Спал бы на ней всю жизнь, – сказал мне дядька Иван, сосед, с которым я ехал на телеге.

Какие здесь путешествия и размышления? Одна грубая жизнь. Она когда-то убила, проткнула штыком маленькую девочку у меня на глазах. Заставила плакать мою учительницу. Сделала взгляд моей матери навсегда печальным. И война – она ошеломила меня, заставив восстать против всего человеческого во мне; какой же я человек, если другие люди способны на такое? Немецкий летчик расстреливал беженцев, потом возвращался, чтобы добить семью на трехколесной уже телеге, свернувшей для спасения с дороги в поле.

Мне казалось, я должен был взорваться, исчезнуть.

Но дорога оказалась долгой. У меня было время и успокоиться, и думать о родных с желанием их жизни, и хотеть самому уцелеть ради них.

Сейчас я считаю, что меня спасло, как это ни странно звучит, зло. Большое зло, война. Она снесла, как паводком, все мои сомнения и размышления о прошлой грубой жизни, о том, почему нельзя было ее исправить, и оставила лишь деление на два мира – добро и зло, жизнь и смерть. Доехать туда, куда я направлялся, было простым и ясным ответом на все вопросы. И я предчувствовал, что и дальше, пока будет продолжаться это ясное и страшное деление мира, я стану подчиняться выбору, который будет происходить хоть и по моей воле, но без всякого моего согласия.

И еще одно непривычное раньше чувство стало для меня спасительным.

Впервые я оказался абсолютно свободным. Никто не ограничивал мое молодое стремление помогать окружающим, и я чувствовал, что стал любимцем нашего стихийно сложившегося обоза. Это мне было просто необходимо – я ничего подобного еще не испытывал и ощущал какую-то странную, переходящую через меня силу мира. На дневных стоянках я обходил все подводы, и всегда находилось чем помочь: то перебинтовать кого-нибудь, то костер разжечь, то воды принести, то просто покормить раненого. За эти две недели я, наверное, изменился. Во всяком случае, помню свое открытие, что научился, или мне кажется, что научился

чувствовать, есть ли у людей совесть, сильна ли она. По лицам, по облику, по разговорам. До этого я долго не мог понять, не мог решить для себя: что же определяет человека? Должно же что-то быть общее для всех, заложенное при создании человека или потом появившееся, – раз мы люди, то что в нас главное? И я ответил для себя, что совесть. Может, и не точное понятие, но ближе к нему я не находил.

Жалко было, что не было рядом со мной деда, но в этих своих размышлениях я словно разговаривал с ним и получал ответы. А иногда мне казалось, что я разговариваю сам с собой – таким, каким стану в будущем. Наверное, я просто выросл во время этой поездки, словно переезжал из детства в другую жизнь.

И однажды появилось зримое, осязательное подтверждение моего взросления. Это случилось во время очередного налета. Немцы часто летали низко над дорогами, выискивая обозы, на этот раз заметили несколько подвод, не успевших укрыться под деревьями, и стали стрелять из пулеметов. Наша распряженная телега стояла в кустах на берегу маленькой речки, я поил двух лошадей, держа их за уздечки. Мы с лошадьми оказались на виду – нас заметил самолет. Это я понял по тому, как он скользнул над нами, развернулся и теперь уже летел прямо на нас. Я потащил упирающихся лошадей, чтобы укрыться в зелени кустов и деревьев, но лошади испуганно пятились, жались друг к другу. И мы никак не могли убраться с пустого и открытого места на песчаном берегу. Я замер на какое-то время рядом с конями, бешено косящими глазами, припадающими на задние ноги, и смотрел навстречу самолету. И почувствовал, что сейчас будут вспышки, будет очередь.

Какая-то неизвестная мне сила подняла меня в воздух, я перелетел через двух коней, почувствовав, как они подо мной шарахнулись в сторону. Пулеметная очередь перепахала весь песок в том месте, где я только что стоял, а я уже на четвереньках был в воде и смотрел и на берег, и на лошадей, которые мчались сквозь кусты, и вслед улетающему самолету. Дядька Иван кричал, гоняясь за лошадьми, а я на ослабевших ногах вышел на берег и сел на изрытый песок.

Как я почувствовал, что пули полетят прямо в меня? Какая сила заставила меня прыгнуть так, как никогда бы я не сумел в обычном состоянии? Не знаю. Но я почувствовал – еще в памяти оставалось это чувство, – как я увидел следующее мгновение, этот следующий миг, от которого я таким чудом увернулся.

И странное ощущение вселилось в меня. Словно в тот миг опасности я вдруг увидел будущее, близкое-близкое будущее, куда я должен был мгновенно переместиться, перепрыгнуть. Наверное, это и было ощущение уже взрослого человека, думаю я сейчас. Ведь ребенок или подросток не предчувствует, что ему угрожает.

Какое-то солдатское чувство опасности, впервые вспыхнувшее во мне на этой отмели, уже не покидало меня всю войну. Сейчас, конечно, уже можно говорить о том, как я чувствовал, что меня не должны убить. Боялся думать об этом напрямую, но чувствовал. Почему, не знаю.

Бабушка Матрена испугалась моего появления. Через обычную радость – столько лет не виделись – виден был испуг. Это меня сразу удивило, но потом я понял, отчего она так встревожилась.

– А мой ты родненький, тебя ж тут заберут! Окопы рыть, а то и в солдаты.
Я готов был и на окопы, и в солдаты. Мне уже шел семнадцатый год.

6

Часто, очень часто, хотя можно сказать, что и иногда, ведь не знаешь, часто или иногда случаются минуты, когда ты чувствуешь себя по-настоящему думающим, чувствующим, живущим человеком, – у меня появляется вдруг сильная уверенность, что вся моя жизнь до этой минуты была словно у одного человека, а дальше во мне будет жить человек другой. Проще говоря, появляется чувство новой жизни.

Так вот, тогда, в родной деревне, прожив там половину своего семнадцатого года, я чувствовал это постоянно.

Мне казалось, я вернулся в детство. Но только казалось.

Время и место не совпадали. Место было то же, а время – другое. Это я понимал. Даже интересно было наблюдать за этим несовпадением, ведь в таком возрасте приятно чувствовать себя повзрослевшим. На каждом шагу я видел, что все изменилось, хотя на самом деле больше изменился я сам.

Тревога меня не покидала. Казалось бы, ничего удивительного – война. Даже дома на улице стояли погруженные в эту тревогу. Но моя тревога была какой-то странной, связанной не только с происходящими событиями. Я чувствовал волнение не только внутри себя, но и вовне, в огромном пространстве. Как будто где-то там, высоко-высоко, наступил разлад.

Сейчас я думаю о том, что эти полгода, которые я прожил в своей родной деревне в начале войны, самые важные в моей жизни. Смешно, конечно, так говорить, ведь любое время жизни важно. Но там, в деревне, я стал таким, каким уже остался на всю жизнь. Наверное, оттого, что много думал.

Это было странное время, никогда потом не понятое. И как только я принимаюсь вспоминать о нем, думать, то всегда умолкаю надолго, как будто появляется во мне запрет размышлять об этом.

И все-таки, набравшись смелости, скажу: чувствовал я себя тогда частью Бога. Так мне нравятся эти слова: частью Бога. Но как только скажу их, опять замолкаю.

Что это? Запрет? Поле, где есть только взгляд по бескрайним сторонам и ввысь?

Но я же не всуе...

По всей моей жизни лучше, чем тогда, меня ни в какое другое время не было. Хотя нет, был. С Эммой.

Но все равно я всегда об этом думаю: почему же все-таки – частью Бога? Сила, свежесть, желание думать постоянно, чувствовать себя живущим, чувствовать, как проходит сквозь тебя время и пространство. Я мог улетать куда-то вверх и видеть издалека и землю, и деревню на ней, и себя одинокого. Одиночество мое в то время окутало меня, как ткань, как покрывало. Я дружил со своими ровесниками, водил с ними лошадей осенью в ночное, зимой сидел на крылечках вместе со всеми в обычных разговорах и не был чужой вороной. Но странная сила одиночества была во мне. Хоть я и знал, что все мои друзья – Макар, Степан, Анна – сами по себе отдельные люди, такие же, как я, но понимал, что они не думают так, как я. Да, понимал. Но меня хватало на все: и побыть с ними, и идти потом домой по дороге через поле под звездами, и оставаться совершенно единственным в этом мире. Оставаться частью, да, той самой частью Бога.

Даже теперь я иногда улыбаюсь, вспоминая то время. Потому что сейчас, в конце жизни, ясно: многое, многое потеряно, и хотелось бы пожалеть о многих минутах, которые прожил бы по-другому. Надо было писать матери каждый день, надо было больше слушать рассказы бабушки о ее молодости, о нашей семье, больше общаться с друзьями и не разжимать рук Анны, когда она сцепила их на моем затылке и прижала мои губы к своим на берегу заснежен-

ного яра. Я сейчас улыбаюсь, потому что смешно уворачивался от всех этих радостей жизни. Ведь в таком возрасте смешно уходить в одиночество! Сейчас я запоздало представляю, что мы с Анной барахтаемся во рву, заполненном снегом, смеемся, целуемся. Ничего этого не было. Я оттолкнул ее и пошел через искрящееся снежное поле, думая о том, что все это – и дружба, и любовь, и родители с бабушкой, – все еще у меня впереди, а сейчас я должен понять самое главное в жизни и смотрел с надеждой на звездное небо. Ошибка молодости? Абсолютно слепая, но правильная уверенность.

Часть Бога... Не дают покоя эти слова. Как их объяснить? Потом, читая биографии людей, которые как раз в таком возрасте были одни – в ссылке, в одиночестве, – я понял, что это было лучшее их время, без него не стало бы дальнейшей их жизни. Так и со мной, улыбаюсь я сейчас. Дело не в известности жизни, даже не в значительности ее, а в ее настоящности. Нет, пусть будет так, как я сказал – часть Бога. Оставил я и родителей, и друзей, и все радости жизни, чтобы становиться собой.

Бабушка оказалась права: забрали меня именно отсюда. Хотя могли бы и не забрать, мне было семнадцать лет. Но я не захотел оставаться без Макара, Степана и еще многих сверстников, которым к тому времени уже исполнилось восемнадцать, и добавил себе год, когда меня спросили о возрасте. Ночью приехали несколько военных, на рассвете собрали всю деревню, отобрали молодежь, сделали перекличку и повели по дороге за деревню. Немцы прорвали фронт недалеко, под Валуями, и военные решили новобранцами их остановить.

Как бабы кричали!.. Я помню, в детстве старшие хлопцы разрушали вороньи гнезда, стаскивали в одну кучу воронят и убивали их. Так же, как вороны в небе, кричали и бабы. Военные даже несколько раз выстрелили в воздух, чтобы прекратить эти крики, но потом махнули рукой и повели нас дальше под прощальный вой. Один из конвойных сказал:

– Воют! Накличут беду.

Нас учили два или три дня. Почему-то только шагать и тыкать перед собой деревянными ружьями. Они так и остались у нас потом вместо настоящих. Вооружить нас не успели, а немцы были близко, и нас послали вперед по полю – показать, что на этом месте есть войска. Перед боем приказали деревянные винтовки замазать грязью, чтобы издалека казались настоящими. Грязь в луже была скользкая, я мазал, думая, что так смазывают ружейным маслом настоящие винтовки. Потом мы разошлись пошире и пошли, потом побежали. Было тихо. Сзади приказали кричать «ура». Кричали. И на каком-то месте ударили пулеметы. Я видел, как все падали, будто ветки с деревьев. Я лежал в длинной полосе убитых, которая получалась оттого, что немцы просто выжидали, когда мы подбежим к одному и тому же месту, и давали длинную пулеметную очередь. Подбегали следующие к убитым – опять очередь. Как будто косили в покос.

В темноте я отполз обратно. Я ничего не слышал, не видел, полз, шел перелесками, рвами, любимыми с детства ярами. Потом я услышал звяканье упряжи на повозках. Несколько подвод стояли в яру. По знакомому покашливанию я узнал дядьку Ивана. Дядька сказал, что его прислали раненых забирать, что он отвез бы меня к бабушке, но уже нельзя, я уже подневольный. Сокрушался, что нас перебили, как цыплят, без присяги, и спрашивал, где ружье. Я ответил, что ружье было деревянное, не жалко было бросать. Дядька замолчал. Мне даже показалось, навсегда – так долго длилось это молчание. Потом он выругался и сказал:

– Да-а, поиграли в войну!

И тут я подумал, продолжая дрожать и глядя на черное небо, что там, на этом небе, сломалось что-то в огромном механизме и вместо детства, когда не было у нас игрушек, попали они нам в руки с опозданием.

7

На войне может только повезти. Если не повезет, то тебя уже нет.

Мне повезло в самом главном – молодости. Чуть-чуть позже, я уверен, даже чуть-чуть позже попав на войну, я бы пропал. Если бы я научился задумываться, оценивать все происходящее, то засиделся бы на каком-нибудь месте, куда должен был упасть снаряд или бомба, зазевался бы где-нибудь на переправе и соскользнул бы в воду, да и просто попал бы под пулю. А так – мой ум еще не успел окрепнуть настолько, чтобы занять собой всего меня, и первая сила молодости гнала меня вперед так, как требовала этого война. И сил у меня оказалось ровно столько, сколько она требовала. Надо было пройти за ночь сорок километров маршем – проходил. Переплыть холодный Днепр, держа в руке шнур для понтонного троса, – переплывал. Разминировал и минировал, стрелял из ПТР по танкам, сам ехал на броне, держась за скобу на башне, прыгивал и бежал в атаку. Если я это все вспоминаю, значит, мне повезло. Проще и яснее не скажешь. Сколько раз я пытался объяснить себе свое везение! И не мог. Не потому что объяснения нет, – есть оно где-то, это объяснение. Сказать о нем нельзя. Человеку позволено сказать только это: повезло.

Сейчас у меня есть время задуматься, и я спокойно вспоминаю многочисленных ангелов-хранителей, встреченных на войне в виде людей.

Первый ангел был командир, которому отдали нас в виде роты новобранцев, уцелевших после деревянных атак под Валуйками. Он не стал, как того от него требовали, бросать нас в новые бои, а понял, что через какое-то время подойдут обученные и вооруженные войска и нечего зря избивать младенцев. Он водил свою роту по лесам и буеракам, прятал несколько дней. Когда по пушечным залпам понял, что с нашей стороны уже появилась достаточная сила, вывел нас к командованию. Его расстреляли прямо перед нашим строем.

Как звали второго ангела, я тоже не знаю. Нас на танках подвезли к месту боя на Курской дуге. В то время я был десантником. Впереди был огонь до неба, все бурлило и кипело пламенем. А у нас был приказ – туда, вперед. И вдруг из этого огня выскочил с пистолетом в руке, почти без одежды, танкист и закричал, что он майор, приказывает десанту прыгнуть с брони и отходить. Он появился из огня и опять исчез в огне, забрав с собой танки. А мы остались.

Третьего ангела я встретил на Днепре. Он командовал нашим понтонным взводом. Мы переплыли ночью на немецкий берег, перетащили шнур, потом привязанный к нему трос. Плавал я хорошо и сам, но Днепр был слишком широк, и если бы не плыл рядом лейтенант Кагановский, я бы утонул. На середине реки пришлось оставить резиновую лодку – сдулась от пробоины – и плыть дальше просто так. Ночью навели легкую переправу, а днем немец ее уничтожил. Мы уже назад не поплыли, плацдарм удерживали. Помню, как Кагановский нас научил по ночам закапываться в теплый песок, чтобы не замерзнуть. Мы в легкой одежде приплыли, а осень холодная была. Песок нагревался за день от всего, что там горело, а ночью грел нас – мы зарывались в него. Интересно, что с тех пор я в речке купаться не люблю, а вот лежать на горячем песке люблю. Потом, когда взяли Киев и давали награды, то прислали разнарядку на ордена и на Героя. Мы голосовали, кому какую награду, но начальство решило по-своему. Героя, как мы того хотели, Кагановскому не дали – дали рядовому Суворову. Лейтенант, как ни странно, расстроился. Почему как ни странно? Да потому что я сильно уважал его и думал, что он все понимает и к наградам относится, как я. А сам я чувствовал, что их нельзя хотеть – убьют.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.